

Уно Лахт

МЫ, СУПЕРЗВЕЗДЫ С ЧУХОНСКИМ УКЛОНОМ...

(из сборника «Банановый корабль в сиреновом тумане», Ээсти раамат, Таллинн, 1985)
Перевод З. Вигдерхаус

Папаша топит нещадно. Особенно по вечерам. Так что сижу здесь, у себя на верхотуре, совсем одурманенный жарой. Вот оно, это письмо. Оно ждало меня сегодня утром в почтовом ящике у калитки, который мамаша опять заперла на ключ. Поясом от нейлоновой куртки я выудил его через щель ящика — очень спешил на лекцию в другой конец города (и успел-таки). И хотя за день, перечитывая и внутренне усмехаясь (но не весело, ибо какой-то комок то и дело подкатывал к горлу), я запомнил его почти слово в слово, все же сейчас я еще раз вникаю в эти строки под бледным светом зеленой настольной лампы, надеясь: а вдруг еще что-нибудь...

Письмо от Аро. Впрочем, судя по количеству строк, скорей от Асры. Хотя это дела не меняет. Жаль, что в этот раз Беата даже не подписалась. Может, за молоком ходила? (Интересно, какой формы там пакеты? Прямоугольные, литровые — как в Швеции?)

«Золотце мое, Рюйт, в самом деле, не обижайся! Чисто случайно (любимое словечко Асры) наше европейское турне затянулось. В Антверпене и в Париже-Лионе — по две недели, вот и лету конец, так что сюда, в землю обетованную, мы приехали, как сам уже знаешь, в совсем неприличное время. Теперь, когда у вас, наверно, давно трещат морозы, я впервые загораю, да и то урывками, как видно по фотокарточке. Судьба твоего друга Аро, который сейчас укладывает свои пожитки и мешает мне писать, на ближайшие годы чисто случайно определилась шикарно, но об этом подробнее ниже, потому что...»

С Аро мы дружили с первого класса, и это благодаря мамашиней настырности. Меня определили в школу со спецуклоном лишь потому, что из дебрей мамашинего рода когда-то вылупился некий магистр языкознания, которого мне, увы, не посчастливилось увидеть. Безумное благоговение мамаша перед этой безвременно усопшей знаменитостью я чувствовал каждое утро, когда она спозаранку отправляла меня по этапу из Меривяля на автобусе в центр — причем первый месяц водила за ручку. Уже одного этого было достаточно, чтобы убить во мне всякий интерес к английскому (если бы он вообще прорезался). За одиннадцать лет (а это больше половины моей жизни) обнаружили совершенно иные интересы, хотя сейчас я уже и в них сомневаюсь. И все же я должен быть благодарен мамашиней настырности. Иначе как бы я узнал о существовании Либов или они промелькнули бы мимо меня как случайные знакомые, судьба которых тебя не колышет...

Помнится, целую вечность нам не давали сесть за одну парту, хотя каждую осень мы демонстративно усаживались вместе. Это была педагогическая уловка нашей классной дамы мисс Пухме: рассаживать дружков, которые, по ее мнению, слишком уж одинаковы по нраву и проделкам. Конечно, Аро очень живой (уже тогда у него была взрывная реакция спринтера), так что, понятно, она рассовала нас по разным углам «Камчатки», оставаясь абсолютно равнодушной к нашим пламенным протестам. Лишь где-то в седьмом мы прорвали эту жестокую блокаду и справедливость восторжествовала.

Тогда мы уже прочно входили чуть ли не во все школьные команды, так как умели почти все: футбол, волейбол, теннис, лыжи, не говоря уже о спринте, который у нас обоих особенно получался (тут мы уже чуть ли не в седьмом были на городском учете

как подающие большие надежды, такие тонкошеи полужезды). Да и физику нашему Куулману легче было нас с урока вызвать, когда мы встаем из-за одной парты (не мешая другим) и, вежливо кланясь химозе (а та с кислой миной кивнет или ядовито заметит: «Ну да, известно! Ведь соревнования важнее учебы, идите-идите, супержезды такие!»), на цыпочках, как приведения по скрипучему полу, под завистливые вздохи, выходим в этот свободный, свободный мир!

Думая об этом времени, я вспоминаю наши проделки и любимые словечки, какими бы дурацкими они теперь ни казались. Вот и Аро написал в своем письме: «Мы как-никак супержезды с чухонским уклоном...» Эта фраза зудит у меня в голове сегодня целый день, как заноза.

Ну а потом на нас обрушился этот безумный, безумный мир — последние круги перед школьным финишем. Дурацкое это чувство — полная беспомощность. Словно к затылку твоему приставлен стилет, как в историческом боевике, и рассчитывать можно только на собственные силы, — а ты прикован к парте, приниженный и согнувшийся в три погибели, отчего даже инстинкт самозащиты предал тебя. И никогда не знаешь, кто из этих монастырских настоятельниц вонзит свой единственно нужный в жизни предмет (тоже мне кинжал!) в тебя или в твоего закадычного друга, душевное смятение которого ты ощущаешь локтем. А может, она расправится сразу с обоими в роковой для вас час, что даст ей приятную возможность съязвить: «А знаете, мне ведь будет скучно на экзамене... без вас двоих!»

Влипли мы тогда крепко, хуже некуда. Сейчас, когда я уже окончил первый курс политехнического, а Аро и географически стал *untouchable*^{*}, бывшее, конечно, кажется далеким и туманным, но тогда случившееся нас ошарашило и напугало, хоть в гроб ложись. И самое глупое — что попухли мы вовсе не на английском уклоне, отнюдь нет. Там, где имелась возможность передышек, мы, барахтаясь, кое-как да держались на поверхности. Ведь наша школа относилась к спорту не более враждебно, чем другие (все гуманитарные обитатели жаждут серебряных кубков под стекла своих стендов!), к тому же самые ядовитые аббатисы на поверку оказались все же людьми, а в актовом зале при выпуске выглядели даже растроганными.

Нет, просто вдруг выяснилось, что мы абсолютные профаны в точных науках. И это там, где поредевшей с годами мужской половине еще удавалось сохранять видимость превосходства. Корнем зла были, конечно, не освобожденные от физкультуры девчонки-зубрилы. Просто за то, что мы раньше филонили, за наш свободный, свободный мир теперь потребовали платы кровью.

«Рейнчик, дорогой, припоминаю это прекрасное бурное время, когда вы с Аро привязали себя к мачте... — пишет сейчас Асра, — ... ходили мрачные, как пираты, так что мы даже побаивались приближаться к комнате прислуги...»

Все началось с того мрачного (и решающего) дня, когда каждый из нас лихо нахватал по пять двоек без всякой надежды на исправление.

— Рюйт, — сказал Аро подавленно, — дергаясь, мы ничего не добьемся — армада наваливается со всех румбов. Спустить флаг было бы недостойно. Не лучше ли принять неравный бой, привязать себя к грот-мачте на это время, хоть кровь из носу... Как ты думаешь?

— Давай, Либи, *England expects*^{**}, — ответил я известными словами одноглазого адмирала; этот треп был нашим лозунгом две зимы (к счастью, бесснежных), пока мы выворачивались из двойного нельсона зубрежки, привязанные к одной мачте (в квартире Либов в центре города), и вырвали-таки победу в этом Трафальгаре точных наук, не потеряв зрения, разума и даже веса. А все потому, что в то время мы выпивали безумно много молока, которое нам Беата таскала из магазина. Да и я

* Неприкасаем (англ.)

** Англия ждет (англ.)

иногда приносил с собой по несколько литров зараз.

Широкие массы стали называть Аро Либи (а меня Рюйтом) после того, как наши имена перекочевали с гаревой дорожки в спортивные колонки прессы (примерно где-то в девятом классе, затем это повторялось по несколько раз за сезон, и вполне законно).

Те, кто придумали фамилии нашим предкам, явно издевались над нами. Он, видите ли, — Арон Либершац, да и я не лучше — Рейн Кюльвирюйт, одно имя другого стоит, возможно, это тоже каким-то образом сближало нас. По нашему мнению, такие имена вполне подошли бы какой-нибудь парочке из цирка на льду. Когда же одна русская девушка спросила меня, что означает в переводе моя фамилия, я на полном серьезе и не приукрашивая ответил: посевная площадь (стараясь как можно меньше коверкать шипящие русские звуки). Однако девчонка, похоже, обиделась и решила, что над ней издеваются, так что мне пришлось прибегнуть к лингвистике и даже к этногенезу (ну до чего же мы в молодости были умны — и это всего лишь три года назад!). К счастью, Аро оказался рядом, да и девчонка была смекалистая (тоже с языковым уклоном, из Ленинграда к нам на excursion прикатила). Вот мы и разбирались, кто же он, этот мой дружок Либершац? Клад любви или любовный клад? Она окончательно успокоилась, когда парень, писанный красавец (а таким Аро был даже по мнению классных дам), повел ее первой на танец, пронзая взглядом сердцеда, так что даже Асра с удивлением уставилась на брата... своими бездонными карими глазами газели.

«Рюйтик, будь рыцарем, — пишет Асра, — если тебе не лень, сходи восемнадцатого февраля, — напоминаю на всякий случай, вдруг ты уже забыл, — в кафе «Перл» и закажи для далекой именинницы здоровый кусок торта, знаешь, со взбитыми сливками и клюквой. Чисто случайно мне стукнет столько же, сколько в вышеупомянутой дате, и теперь, как много повидавшая старая дева, могу поклясться: это самый лучший торт и самый лучший возраст на свете... Обычно ты съедал безе, а я смаковала сливки, но теперь, будь паинькой, прояви характер и съешь наоборот...»

Асра знает, что я безумно люблю молоко, как и Аро, но даже в спортлагере, при больших нагрузках и волчьем аппетите, мы всегда обменивали сливки на макароны, пусть даже склизкие. Мне почему-то взбитые сливки всегда казались какими-то странными и с привкусом мыла, и Аро тоже — должно быть, из солидарности. Но да все равно: я буду рыцарем, и восемнадцатого в «Перле» свершится это «наоборот».

Задним числом многое в семье Либов представляется «наоборот». От цвета глаз до взаимоотношений. И это не теперь мне кажется, это действительно было так.

Синеглазый Аро — в маму, крошка Ноэль — светлей моей соломенной масти, совсем как ангелочек. Все девчонки: Асра, Беата и дошкольница Патрия — темные, курчавые, точно в папу. Или, вернее, в Абе, так как «мама» и «папа» в этой семье не были в ходу. Либо Лейда и Абе, либо еще официально — доктор. Поначалу это было дико слышать. И что мне особенно чудным казалось, так это, что в их доме роли взрослых и детей были как бы перевернуты. Раз мне довелось услышать, как доктор ворковал в ванной со своей женой — ну совсем как дети малые. Зато с меньшими Либамы следовало разговаривать как в парламенте, именно следовало. У них, казалось, в крови было сознание, что когда ребенок пересаживается с горшка за рояль (самостоятельно и по доброй воле), с ним следует обращаться по-взрослому. Если же с этим не считаться, то можно утратить доверие, а доверие ценилось в этом доме с не меньшей естественностью, чем хорошее настроение.

До сих пор мне дико симпатично то, что никого из маленьких Либов не водили за руку в музыкальную школу, в балетный или худкружок, хотя Лейда, мать, работала в консерватории (кажется, репетитором). Так что показаний к музыке у них было гораздо больше, чем у меня к языку. Наверно, поэтому из всех брэнчаний на

школьных торжествах наибольшее впечатление на меня произвело исполнение Асрой одной из прелюдий Шопена (написанной на Мальорке — место тоже важно!) — именно потому, что знаешь и видишь: человек играет свободно, от души, ради собственного удовольствия. Никто никогда не заставлял ее садиться за рояль. Ну, даже если к Асре я, возможно, равнодушен, то дошколята и малявка Беата тут ни при чем... Да, все, что в этом доме делалось, делалось с душой. Шел ли кто-то из девчонок в булочную, кормил ли маленькую, вытирал ли лужу в прихожей или готовился к выступлению на сцене — всегда на их лицах было выражение какого-то благородного достоинства, будто нет на свете неважных или неприятных дел, по крайней мере для Либов.

Мне нравилось смотреть на них, когда они чем-то были заняты, особенно на Беату: у нее даже губы складывались бантиком, словно во рту было что-то лакомое. Мол, видите, как вкусно, даже жаль проглатывать!

Что же делать, если это гнездовье так нравилось мне. Иногда я чувствовал себя здесь более уютно, чем дома.

«...извини, если я надоела тебе описанием жителя-бытия переселенца, которое ко всему еще и временное, по крайней мере для нас. У меня какое-то странное чувство должника перед тобой, даже это прощание, помнишь... Вся эта суматоха... я очень виню себя за то, что нам так и не удалось нормально поговорить, а я чисто случайно всегда относилась к тебе...» — писала Асра.

...Никто никого не может винить, да и не в чем, когда судьба обрекла тебя быть единственным ребенком (к тому же еще таким, как я — щипцами вытянутым!). Разве я виноват, что весил на килограмм больше, чем положено? Или что моя родная мамаша не сумела в нужный момент проявить характер (в другое время у нее его — хоть отбавляй!)? Прежде всего тогда, когда у них со стариком созрел план взять кого-нибудь из детдома мне в сестры.

Порой, когда я грубил своим предкам (теперь это случается вроде бы реже), мне преподносили эту трогательную историю: мол, возможно (почему бы и нет?), я действительно был бы помягче характером (не такой щипастый?), если бы рядом в песочнице копошилась крошка-сестренка. Я, конечно, ухмылялся в ответ, но если подумать, то мне и вправду не хватало именно сестренки. Только вот не знаю, какой именно? Такой, как Асра? Или мне просто нужна была какая-нибудь девчужка, которая визжала бы от страха, когда я, испытывая свою смелость, раскачивался на вершинах высоких прибрежных тополей, и умоляла бы меня слезть оттуда?

Да, никто не виноват... В конце концов, так им осталось больше времени и возможностей для моего воспитания, больше свободы в этих кирпичных стенах (целая мансарда, если ее достроить), да и не только здесь... И разве взамен от меня — одно лишь упрямство и равнодушие? Нет, вовсе нет. Уж я-то достаточно часто давал понять своим предкам, что уважаю их и даже считаюсь с ними.

Конечно, они от сохи, прочно вросли в землю, в гараж, в свой парник и гребут к себе, но их не приходится стыдиться. Просто надо понять: они относятся к недюжинному сословию огорожавшихся крестьян, бывшему здесь в почете с незапамятных времен, если верить пожелтевшим хроникам и модной ныне исторической прозе; и почему бы не верить приятным фактам? Теперь же, своим тяжким трудом достигнув благополучия, они прочно держатся за него. Они не пропускают ни одного спектакля, с благоговением говорят о деятелях культуры (о здоровье Георга Отса, о передачах Панта и Тальвика, и даже знают, что Юри Юди на самом деле — это худощавый молодой актер, который шутит с серьезным видом), и вряд ли стоит требовать от них большего. Иногда мне кажется, что они в общем-то ни о чем и не мечтают, — или мне этого не понять. (О выигрыше в лотерею? Нет, теперь уже нет! О спокойной старости? Так она им, считай, обеспечена.) Очевидно, я к ним страшно несправедлив: конечно, они мечтают, видят радостные сны, где, возможно,

даже лепечут (как дети малые?), только внешне они непроницаемы и бесстрастны, как запертый комод. Журавля в небе они больше не ловят, даже моя дорогая упрямая мамаша примирилась с мыслью, что из меня не выйдет Майского или Зорге (даже учителя английского в сельской школе, слава богу, не получится), а папаша Кюльвируют знай себе ухмыляется в бороду (дома он редко пользуется правом голоса — это он делает в консервном цехе, где исполняет роль строгого полубосса), довольствуясь тем, что скорей всего я стану рядовым инженером-корабелом, который, если котелок будет варить, сконструирует к какой-нибудь посудине еще один лишний маховик.

Не знаю, отдают ли мои мысли дизельным патриотизмом, только чувствую ясно, что я и мои предки — одного поля ягода, что я не менее эстонец, чем они. Я почему-то даже думаю, что пестрая картина мира была бы намного беднее, если бы на этом берегу не было горсточки подобных нам, задубевших, с выцветшими ресницами и с замкнутой, как банка килек, душой. Вот до чего трезво я все это взвешиваю... Возможно, будь у меня и в самом деле сестренка... Быть может, характер мой был бы более удобоварим?

«...только Беату ничто не удивило. Разве только что в Лувре один коридор был в лесах, да Средиземное море, по ее мнению, могло бы быть более лазурным. В самолете она как рыба в воде и на всех рынках — гроза торговцев овощами: отдают ей за полцены — вот какое чутье! Я уж подумала, не пропал ли в ней чисто случайно...»

..Беата ходила тогда в четвертый класс. Уроки у нее кончались раньше, и она сидела дома одна.

Эту историю она позже поверила только мне.

— Рейн, сегодня твоя мама была у нас. Очень солидная, большая, мягкая, серая, как мышь, и немного вспотевшая.

(Это мамаша для солидности напялила норковую шубу, хотя на улице снегом и не пахло.)

— Что ей надо было?

— Хотелось уяснить общую обстановку.

Поскольку Беата приходила домой первой, то для нее это было повседневное занятие: она с потрясающей корректностью отвечала на все телефонные звонки, обычно из больницы или из консерватории.

— И что же ты ей наговорила?

— Что Абе оперирует до самого вечера, у Лейды «окно» отменили, что тетя Маали пошла с постельным бельем в самообслуживание, а я собираюсь в садик за близнецами, но не желает ли она перед этим выпить со мною стакан молока. Она не пожелала.

Подозреваю, что когда все это одним залпом было выпалено моей мамаше (как мне сейчас), с важной миной, с загибанием пальцев для счета, то мадам Кюльвируют в своей шубе взмокла даже без молока, которого в этом доме выпивали за день не менее пяти литров.

— Она тревожилась, не тесно ли здесь и не мешаешь ли ты нам.

Тесно у них, конечно, было, несмотря на три комнаты (даже под «Беккером» набито: ноты, книги, пылесос, граммофон с медной трубой), так что мы могли пользоваться комнатой прислуги за кухней только благодаря неугомонности тети Маали, которая все время была чем-то занята и даже по вечерам уходила к подруге в соседний дом.

— ...Мы все, и родители тоже, очень рады, что ребята занимаются. Они вовсе не мешают нам, — пропищала Беата. — Но больше всего она интересовалась, — лукаво склонив набок курчавую головку, продолжала она, — как ты относишься к моей старшей сестре.

— Ну, и как же я отношусь... по-твоему?

— Я сообщила твоей маме, — она выдержала для пущей важности паузу, — что, по-моему, ваши отношения с Асрой вполне приличные, как и полагается, дружеские! — И она посмотрела на меня своими внимательными серьезными карими глазенками, как бы убеждаясь, правильно ли ответила... По-моему, из Беаты может выйти хороший психолог, женщина-факир или что-нибудь в таком роде — пока это, во всяком случае, еще не поздно. Асра пишет:

«...Помнишь, какое блаженство было на острове Аэгна? И ничем не омраченная чистота чувств? Теперь это все как бы вне пространства и времени, и никто, кто бы ни вошел в дальнейшем в нашу жизнь, не сможет стереть ни одной черточки. И это так прекрасно, мой далекий милый дорогой Рюйт!»

Я думаю точно так же.

Даже в самые скверные периоды нашей «холодной войны» я не упрекал мамашу за ее секретную миссию. И она никогда ни слова об этом. Мы оба упрямые, и в этом достойны друг друга. Хотя я и не склонен подозревать мамашу в чрезмерной тактичности, все же в дальнейшем не замечал за ней шпиономании такого толка. Впрочем, может, потому, что мои дела для нее уже в порядке вещей.

Теперь, когда я воскресным утром спускаюсь со своей верхотуры в ванную с какой-нибудь девицей, которая после холодного душа приветствует мамашу кивком, последняя, стоя у кухонной двери, лишь спрашивает с надеждой, не угодно ли молодым людям по чашечке горячего кофе? (У меня наверху есть свой кипятильник.) Но никогда она не подавала виду, хотя и просыпается от мышиного шороха. И даже в тех веселеньких случаях, когда ночная гостья, спеша по лестнице в нужный чулан (кто помышляет, те знают, как беречься), натывается на наш треугольный столик и с него с глухим звоном негритянского там-тама скатывается чеканная медная чаша, которая, к испугу бедняжки, вертится волчком на коврике. В эту минуту, потягиваясь у себя наверху, я представлял себе, как она там, на корточках, в тонюсеньком импорте, с холодной медяшкой в руках, дрожит от свежих еще постельных впечатлений и страха подзалететь.

На осточертевшем мне английском имеется дьявольски точное определение — *unwanted child* (нежеланный ребенок), означающее нечто совсем иное, чем *love child* (дитя любви, то есть внебрачное). И оно — святая истина. Точно так же как от нас не зависит наше происхождение, национальность, цвет кожи или место, где мы появляемся на свет (все мы приходим сюда в какой-то мере случайно и нежеланными, по крайней мере так нам кажется), не должны мы и хотеть от своей любви (если она чистая, разумеется), чтобы она, корчась в темноте с чеканной медяшкой в руках, прислушивалась к рычанию овчарки во дворе и кашлю проснувшегося курильщика за стеклянной дверью (вовсе, похоже, не претендующего на роль счастливого дедушки, хотя каким-то причудливым образом он и может об этом мечтать).

Да, дети любви, если таковые вообще возможны, должны быть какими-то особенными... немного шопены, немного юные Пушкины (хотя бы внешне) и, может, даже чуточку иисус-христос-суперстары. Поскольку в наши дни дураков на крест лезть нет (крестики ставят лишь на карточках спортлото), то такие дети были бы особенно нужны.

Дьявольщина, ну до чего топит старик.

«Недавно ходила тут смотреть «Иисус Христос суперзвезда», цветной, широкоформатный, потрясающий. Особенно странно было при выходе из кино оказаться среди теплой ночи в тех же местах, где та же ржавая или кроваво-красная земля и вдали смутно синют вершины гор — картина ведь в здешних местах снята, хотя, может, и не в нашем маленьком городе, не знаю».

...Ведь женятся же и на сестре своего лучшего друга, и довольно часто, и это не считается каким-то извращением.

Странно, но я даже во сне не согрешил с Асрой. Даже тогда, после долгого жаркого дня, проведенного с ней на пляже, когда мы потом сидели у меня на верхотуре, или после прощальных объятий с пожеланием покойной ночи в парадной Либов, что задним умом не кажется таким уж невинным для дружеского провожания. А когда она весело, без всякого ложного стыда, сбегала по этой же лестнице за малой нуждой, гордо подняв шелушащийся носик как знамя девичьей чести, ничего подобного мне даже в голову не могло прийти. Ну и там, в парадной Либов, где Асра, обнимая за шею и сияя от смеха, меня в щеку клевала, она так становилась похожа на брата, что целоваться дальше казалось абсурдным...

Глупо, если теперь подумать, ужасно глупо! Мир не рухнул бы от этого (и мир Либов тоже нет, по крайней мере Аро не допустил бы раздора).

Сами мы впервые макнули где-то в семнадцать в спортлагере. На редкость добродушные дискболки попались. Да и в дальнейшем смотрели на это дело как на естественное продолжение хороших отношений, из-за чего не стоит особенно волноваться.

Может быть, именно потому, что мы с Асрой слишком хорошо знали друг друга, и было у нас все по-другому. Хотя, по мнению умных людей, и должно быть наоборот, да и тянуло ведь нас друг к другу.

Конечно, я не считал Асру больше ребенком, когда мы вдвоем там, на Аэгна, за камнями, под пронизывающим ветром в воде бултыхались, а потом я выжимал ее купальник... и видел красу ее гибкого стана, орехово-коричневые бедра и белизну грудок; с закрытыми глазами могу себе представить ее походку, когда идет она на цыпочках по камням (как будто несет что-то очень хрупкое), привычку, чистя зубы, кивком отбрасывать копну волос за спину. Особенно меня смешила перенятая от Аро манера — сердито приподнимать левую бровь, когда требовалось решающее усилие, например, при подаче в теннисе, да и не только.

И глупее всего то, что ведь она не оттолкнула бы меня даже взглядом, ее строгие принципы (у некоторых это просто фарс, но в принципы Асры я верю) растаяли бы, огня в нас обоих было предостаточно.

Дьявольщина, ну до чего старик натопил! Неужели он не понимает, что все тепло поднимается ко мне на чердак!

Теперь же я смотрю на нее совсем в другом свете, не в зеленом свете настольной лампы (пожалуй, и не в слепящем сиянии чужеземного солнца — фотокарточка слишком контрастна, чтобы быть реальной: яркая зелень, модные очки, белоснежная юбка и загорелые руки, ноги, талия). В таком виде она для меня лишь экзотика, эта маленькая, хорошенькая, шустрая кроха, которая суется где-то там, на недосыгаемом юге, в часы пик со своим просыпающимся женским чувством и тягой к витринам магазинов — поди знай, насколько серьезной... Нет, я вижу ее теперь совершенно в другом свете, и странно, мне даже не жаль, что она недосыгаемо далеко. Даже в грезах своих я не хотел бы, чтобы она вошла сюда ко мне, на верхотуру, потому что тогда пришлось бы, пожалуй, и впрямь выступить (хотя бы ради бравады): ну как, мол, кошечка, не попробовать ли, что у нас в постели получится? А этого я, ей-богу, не хотел бы! Пусть эта грация там (не мое дело, чьей она будет женой) навсегда останется для меня девчонкой с облупившимся носом, сбегавшей по нашей лестнице. И пусть в ней сохранится хоть немного от прохлады прибрежных камней моего берега и моей (по-братски?) шаловливой ласки, от всей этой нежности, которую я все еще храню для кого-то. Мне почему-то хотелось бы сберечь именно этот взгляд в модных темных очках (которого я не вижу!), устремленный, как мне кажется, на север и ищущий там предмет своих первых соблазнов, бравого рыцаря Рюйта, которому можно довериться.

«...чисто случайно находится склон горы, где стройные кипарисы вдоль извилистой

дороги тянутся через фруктовые сады вверх... и ночь, как черный бархат, но сухая жаждущая земля остывает медленно, как бы нехотя, до зари... а цикады здесь надоедают хуже твоих (и моих?) коростелей, хотя они и букашки, но к этому можно привыкнуть...»

Ты права, Асра, ко всему можно привыкнуть!

...Все это было, возможно, слишком неожиданно. Аттестаты зрелости на руках, выпускной вечер и телячьи восторги (как заметил один речистый старец) позади, мы с Аро чувствовали себя как оглушенные после столь резкого спада напряжения. И странно, впервые мне пришлось почти силой тащить его на стадион. Мой друг был какой-то кислый и замкнутый.

Наверно, от зубрежки точных наук у меня возникла железная теория.

— Знаешь, Аро, — сказал я, — давай на этот раз покажем класс в самом начале сезона. — Помню, я еще умствовал, что тренеры, сонные после зимней спячки, вынюхивают сейчас будущих звезд, как медведи клюкву весной. В конце концов я его раскачал, но все равно это было как-то без настроения.

И все же как раз перед Ивановым днем, прямо на республиканских соревнованиях, с ним произошло что-то мистическое, даже теперь это выглядит так, хотя я уже знаю причину.

Обычно говорят — стартовый рывок. Ерунда. В каждом спринтере всегда имеется и запал и порох. Но должен быть еще один, сжигающий, реактивный заряд. Иначе такое невозможно.

После финала, когда мы, очумевшие, висели друг на друге, его серые глаза казались потухшими (как у слепого), так что было даже страшно смотреть. Погода стояла безветренная, секундомеры оказались в порядке, что в этих краях почти чудо — и Аро показал время (невероятно!) 10,4! А у меня, шедшего за ним, — 10,6! Полторы нормы мастера в одном забеге!

Известно — в наших краях борзовы не рождаются, как боровики. Только один из эстонских прыгунов взобрался на золотой Олимп, да и тот фанатик — Юрий Тармак, к тому же благодаря питерской закалке.

Так мы и стояли там, чуть отдышавшись, пока разные деятели подходили хлопать нас по спинам. Предчувствуя судороги, я прилег на траву и сказал полушутя:

— Ну, Аро, теперь что хочешь: университет или политехнический. Документы, считай, уже оформлены...

Да, очень уж неожиданно все случилось. До сих пор не пойму, почему он это от меня так долго скрывал.

Помню, я еще подумал, что заело молнию у его «Адидаса», так как он швырнул сумку оземь, прилег рядом, все еще глядя как бы мимо меня, и сказал:

— Рюйт, я сваливаю. В землю обетованную, в Израиль, через две недели, баста! — И ткнул ногой в «Адидас», сумка вмялась, искореженная надпись словно закричала в обиду на незаслуженное оскорбление...

Аро показывал мне свой паспорт, мы вместе ходили их получать. Право выбирать национальность казалось мне тогда очень уж смешным (какими же мы были еще детьми!). Раньше мне и в голову не могло прийти, что есть много таких, кому в шестнадцать лет приходится решать, кем они будут в дальнейшем, русскими или турками, поскольку родители разной национальности, — не они же их выбирали. Чепуха какая-то: ведь все эти годы Аро сидел рядом со мной в эстонской школе (правда, с английским уклоном). Но вдруг я, вопреки удивлению, сообразил, что его внутренняя пружина должна быть закручена намного сильнее моей, что там есть очень чувствительное место, на которое не следует нажимать, так что я не смогу ему сказать: «Ерунда, не вешай носа, для меня ты чистый эстонец!» (Вот уж действительно комплимент!)

Мы бродили тогда по осеннему городскому парку дотемна, говоря о чем угодно, только не об этом... поскольку не было смысла, ведь все было сделано до нас, до

нашего появления на свет, не спрашивая нашего согласия...

«...единственное, к чему не хочется привыкать, так это то, что жизнь человеческая, как и у этих букашек, незримо теряется в ночи — днем их никто не видит, при свете дня они замолкают».

Я буквально затащил Аро со стадиона к нам в Меривяля. В автобусе мы глазели по сторонам, не глядя друг на друга, будто впервые видели береговую дугу с насаженными, как в строю, соснами и прошлогодним буреломом.

Был субботний вечер, и от серых кирпичных особняков шел запах астапливаемых бань.

Папаша мой устанавливал разбрызгиватель среди грядок с клубникой, которая была еще мелкой и белой. Я сказал ему, что мы выполнили норму мастера (я вообще-то кандидата в мастера) и что для расслабления нам нужно бы полбанки коньяка. (А банка — это сколько вообще?) Ни слова не говоря, папаша пошел в дом, вернулся, сунул мне в кармашек сорочки сложенную красненькую и, кивнув Аро занялся опять своим разбрызгивателем. Мое ли неожиданно успешное окончание школы вызвало у него какое-то уважение или он угадал мое настроение — не знаю...

Видно, чем-то мы все-таки выделялись, поскольку обычно недружелюбный швейцар пляжного кафе, взглянув разок, без особого разговора принес бутылку и передал ее сквозь толпу ожидающих за дверью.

Мы сели у гаснущего морского камина (каким он бывает в наших краях в течение всей ночи во время летнего солнцестояния), упершись горбами в прибрежные дюны, и опрокинули полбанки с тремя блеклыми звездами, не почувствовав даже вкуса этой гадости (по крайней мере я). Пили молча, как отверженные, как два Жана Габена.

Перед нами белел песок пляжа, а за дюнами, словно в строю, стояли сосны, эти вольные слушатели школы ветров с морским уклоном, которые никогда не просят визы в страну кипарисов...

В голову лезли мысли, одна другой лучше. Алкоголь не действовал даже на пустой желудок. При большом напряжении он как бы испаряется. И мне все время казалось, что я немедленно должен что-то предпринять, очень решительное, что только мои продуманные действия способны помочь Аро выкарабкаться из этой жуткой истории, в которую он влип (как в уличную драку) по стечению обстоятельств. Ну а если не удастся вставить палки в колеса бюрократической колеснице, то надо сейчас же, сию секунду, отсюда, с дюн, послать прошение (как можно выше, может быть, Косыгину), что это — потрясающая ошибка и вообще бесчеловечно допускать, чтобы мой лучший друг исчез в неизвестности именно теперь, когда на нашем горизонте замаячило что-то реальное... Мне казалось, что достаточно моей решительности, и все тут же рассеется: мы будем по-прежнему беззаботно трепаться о чем угодно и о ком угодно, посылая ко всем чертям любого кретина, будь то местного или международного значения, если он не умеет быть выше личных или мировых абракадабр и не видит (как мы — единственные), что что-то в этой безумной игре в прогресс явно не так.

Голова была настолько ясная, что не оставалось сомнений: это уже не страхи школьных времен... По-моему, и Аро тоже понимал, что мы всего лишь два муравья на пыльной лунной тропинке, куда нас швырнула судьба и где мы барахтаемся в невесомости. На свои силы нечего рассчитывать: уравнение не имеет рациональных решений, финишной ленточкой является линия горизонта, дружба и спортивная закалка — все это теперь абсолютный нуль. Даже хорошее настроение, твердость духа или какой-нибудь остроумный анекдот выглядели бы сейчас как юмор висельника из серии «Не щекотно ли?». Я даже не был в состоянии спросить, насколько серьезны причины — ведь на Луне все практически невесомо... (Муравьиная юность проходит быстро, не правда ли?)

«...чтобы не судьба играла людьми, а чтобы они сами решительно могли менять свою жизнь, но, конечно, не делая зла тем, кто чисто случайно не понимает причины, отчего букашки...»

Чисто случайно я знал даже две причины. Прежде всего этот дядька в Канаде со своей частной клиникой или даже с несколькими (он прислал стереомагнитофон и отличную кинокамеру — суперкласс!), у него, конечно, денег куры не клюют.

Но ведь доктор Абе никогда не казался мне человеком, способным так, с бухты-баракты, взять да отрезать (ведь он же сшивал сердечные клапаны!). Да и у матери Лейды, и у всех махоньких Либов тоже были нити, связывающие их с этой землей, так что больно, наверное, было рвать их.

Нет, основная причина не в наследстве. По-моему, Либы были выше моды, вещей и даже денег — это всегда восхищало меня. Моя мамаша или там какая-нибудь наша соседка — те сломя голову полетели бы к такому way of life*. Чисто случайно (от Асры пристало!) обнажались и более мрачные нити, ко-торые доктор и в самом деле мог хотеть перерезать...

Где-то там, в Пярну, имеется какой-то амбар Пета (наверно, большое складское помещение?), где было уничтожено несколько сот местных евреев, в том числе вся семья доктора Абе (сам он был в пионерском лагере, и их эвакуировали в Россию). Мужчин расстреляли, а мать и маленькие братья и сестры (не знаю, сколько маленьких Либов тогда было) все были отравлены (их перед этим морили голодом) почему-то молочным супом!

Фашизм, говорят. Но ведь это сделали моей же ценной породы мужички, благонравные бюргеры, лавочники, мясники, хоровые певцы, студенты и спортсмены (может, даже кто-нибудь из тогдашних суперзвезд?), орудовавшие в том амбаре. Я вполне понимаю, почему Либы никогда не отдыхали в Пярну.

Нелепо, но тот суп ведь тоже был сварен из эстонского молока, которое с удовольствием пили рожденные Лейдой светлоголовые и темноголовые сегодняшние молодые Либы. Да и доктор (лучше, чем кто-либо другой) должен бы знать, что старые раны не стоит бередить — это не поможет.

А главное (как рассуждали мы с Аро при получении паспортов) — вся эта мерзость была до нас. Мы презирали то время и те ужасы и не хотели иметь с ними ничего общего. Теперь же вдруг все приобрело какое-то значение, связалось в роковой узел, где уж и не различить, какие нити крепче, какие слабее и кого они связывают. Мы сами оказались вдруг вне игры...

Бутылка была пуста.

Я смотрел сквозь ее дно на холодный закат, разливавшийся над Финским заливом. Он выглядел, как остывший молочный кисель с раздавленной клюквой у края. Последний уголек в морском камине...

Мне нечего было сказать другу, все было понятно без слов.

— Знаешь, не смотри на это столь трагически. — По хриплому голосу Аро можно было догадаться, что в дюнах сыро, даже холодно. — Ведь у каждой вещи не меньше двух концов,

— он ловко, винтом, бросил бутылку в урну, — и ни один из них не лучше другого!

Разминая ноги, мы трусцой побежали по песку, мимо одиноких куч водорослей на пустынном берегу и еще более одиноких людей, прогуливавших своих собак. Бег разогрел нашу кровь, и коньячный допинг стал проявляться сильнее.

— Абе тоже надо понять, — сказал он как бы в пустоту, мимо меня, раскачивая на ремне свой «Адидас». — Он мечтает еще лет десять самостоятельно пооперировать в собственной клинике, оставить после себя какой-то метод или что-то в этом роде. А может, крошка Йоэль унаследует его талант. Меня эта медицина не тянет, ты знаешь. И Лейда вовсе не против, если у девчонок после колледжа будет приличное приданое.

* Образ жизни (англ.)

— Аро улыбнулся. — От мещанства, братец, никуда не денешься; ни тут, ни там нет дела более важного, чем обеспечить своим потомкам будущее. — Он вздохнул. — Так что спокойно, Рюйт, переживем... Не думаю, чтоб мы надолго задержались в земле обетованной — переберемся за лужу к uncle* Муле в его вигвамы. Да и путешествовать тоже интересно, это единственный шанс для меня проверить наш английский уклон. — И он продекламировал Киплинга: — «Throughout the world where sun never sets and blood never dries»**. Но запомни (он стал серьезным), что конвоировать босоногих феллахов я не стану (тогда о второй арабской войне еще и не подозревали) и за здешних ребят буду болеть всегда... У нас с тобой была чертовски прекрасная юность, Рюйт, жаль, что она так быстро сгинула...

Когда его автобус ушел, я, облегчившись за кустом, почему-то подумал о военно-патриотических играх. Наверно, потому, что там мы весело носились вот по таким же перелескам и кустарникам. И в пионерах мы были вместе (а в комсомол не пошли — там командовали освобожденные от физкультуры девчонки). Но особенно преследовала меня мысль — по какой статье спишут его в военкомате?

А потом я увидел как наяву: частная клиника дяди Мули — и напротив, через дорогу, типичный канадский коттедж, а перед ним, с лейкой в руках, розовощекий пожилой джентльмен, поливающий розы у гаража... Готов поклясться, что это один из пярнуских мужичков, орудовавших в том амбаре с нелепым названием Пета. От куста пахло перебродившим молдавским солнцем, но меня знобило: прохладны эти северные белые ночи под мутным небом.

...А старик нынче топит безумно, хотя зимой и не пахнет, даже прибалтийской.

До их отъезда оставалась неделя, и я еще пару раз заходил к Лидам. Но это была уже не та уютная «кают-компания», а какой-то Проходной двор, где все время шныряли какие-то советчики, покупатели или родственники (чьи, этого не знала даже всезнающая Беата; таких библейских персонажей мне что-то раньше не попадалось на глаза в нашем городе), поэтому нормального человеческого прощания у нас и не вышло. Я просто сунул наспех каждому по сувениру: Асре и Аро — кожаные обложки для записных книжек, Беате — хитроумный кошелек для мелочи, близнецам — футляры для расчесок, доктору — футляр для очков, Лейде — цветы. Почему-то поцеловал в щеку тетю Маали, и та расплакалась, а я смылся.

В порт я нарочно не пошел (им разрешили ехать через Хельсинки, чтобы по пути побывать у родственников в Антверпене и Лионе), потому что, по-моему, нет более приторного зрелища, чем толпа вокруг уезжающего финна или эстонца-эмигранта: у всех придурковато-счастливые улыбки, как на певческом празднике. Я и так представлял себе всю эту увиденную Лидами сцену у причала — все машут, кричат или плачут. Только моей постной физиономии там и не хватало.

Когда корабль выходил в залив (из Меривялья видно как на ладони), я как раз помогал отцу тащить разбрызгиватель, впервые за несколько лет (клубника уже принимала товарный вид). Потом все не мог найти себе места дома, попросил у папаши ключ от тачки и укатил на пляж в Клоога.

На это ушло более часа (наш драндулет неплохо тянет, но ведь ехать надо через весь город).

Плавал я до потери сил. Вода здесь чище и теплее, чем у нас, особенно при западном ветре. Затем выпил в прибрежном баре у стойки чашку кофе и, не найдя попутчиков, вернулся один.

На обратном пути чуть не угодил под откос: засмотрелся за рулем на корабль, уходивший со сверкающими огнями на запад (понятно, не в Хельсинки).

Когда смотришь с высокого берега вдаль, то кажется, что корабль стоит на месте. И вдруг мне померещилось, как в кайфе, будто несусь я на глиссере к кораблю,

* Дядя (англ.)

** Сквозь мир, где солнце никогда не садится и кровь никогда не высыхает (англ.)

который остановился и ждет меня...

Когда встречный самосвал ослепил меня и резанул мимо справа, я был почти над откосом, под которым тут не один десяток метров, — так что если бы не чудо...

Где-то в конце июля пришла цветная открытка из Парижа. В центре, как бабушкина этажерка, — Эйфелева башня, а вокруг виды города величиной с почтовую марку. На открытке — пара путаных строк от Асры. Писала, что вылет из Орли задерживается. (Почему? Забастовка диспетчеров?) Прощай, вольный дух Европы — наше с тобой гуманитарное образование! (Что верно, то верно — в самый раз мне перенять топку у папаши и натопить так, чтоб трубы лопнули!) Ну и под конец — пожелания загореть как следует (сама, наверное, еще солнца и не нюхала).

И действительно, как видно из сегодняшнего письма, им было явно не до загара. Колесили по метрополям, да еще с малышами — хлопот хоть отбавляй!

Аро черкнул: «Salut от белой вороны!» Зато подпись Беаты с ее закорючками ползла от нижнего края до верхнего, как у Наполеона в эпоху его блистательных побед. Вот кого хотелось бы увидеть в суеде большого города — ее курносый носик и внимательные глазки, пристально всматривающиеся в мир взрослых.

«Миленький Рюйт, — пишет Асра, — чисто случайно допускаю, что ты все же чуточку волновался за нас, правда ведь?»

Еще бы — почти полгода ни слуху ни духу.

Сам я, конечно, весь в делах. Новая, более рациональная среда, зачеты, да и вообще другая система. Иногда соревнования, иногда немного с подружками, иногда небольшое show по случаю стипендии, так что особенно не тужил. Как говорят, с глаз долой — из сердца вон! Но порой все же не терпелось посреди баскетбольного матча переключить телек на финнов, не ради подвенечного наряда английской принцессы (это интересуется мамашу), а ради последних новостей. Они давали почти прямой репортаж с поля боя арабо-израильской войны. Я ловил себя на мысли, что ищу среди пыльных лиц на бронетранспортерах свою «белую ворону». Вдруг он прокаркает: «Karutt, Рюйт, drang nach Kairo!» Но все кончилось всемирным перекрытием топливных кранов. Только нас это не касается: старик разбазаривает нефтяные ресурсы так, что сижу здесь, на верхотуре, как пленный в Синайской пустыне — в одних плавках.

Потом пошел снег, но и Новый год не сковал голубым льдом берега Аэгна, где мы с Асрой когда-то воду грели. И не было ни белых буерных парусов на льду, ни трескучих морозов, ни северного сияния по ночам. Возможно, я это сияние когда-нибудь и увижу, но уже другими глазами.

А на этом конверте сегодня утром, как нарочно... голубые марки, слишком уж яркие...

«...войны судного дня мы и не нюхали, только по телеку. Правда, Беата ходила набивать мешки песком (3 дня), но их так и не увезли, ха-ха, наверно, для следующей войны готовили. С нетерпением ждем отъезда в Канаду. Батя от безделья очень дерганый (да и кто бы не дергался?), потому что вдруг из-за ульпана это затянется не меньше чем на шесть месяцев?»*

..Нудно, да? Сейчас будет веселее. Недавно в нашу временную резиденцию нанесли важный визит. Приходили три иммиграционных деятеля. Уже с порога говорят с улыбкой: «Предлагаем на очень выгодных условиях направление в США. Где г-н Либершац?» Батя не растерялся, спокойно и солидно встал, расправил свою советскую пижаму из натурального шелка, надул щеки (помнишь?), мол, на каких условиях? — все же, понимаете, через большую лужу. А дальше, спорим, ты не угадаешь. Чинуши покачали головами: «Нет, г-н Либершац должен быть двадцати

* Ульпан — курсы иврита для иммигрантов.

лет и суперклассный спринтер». Бедный папа, его глаза буквально полезли на лоб. Чтоб не рассмеяться, я выбежала на веранду, где Аро дрых после обеда. Он не лежебока, ты знаешь, сонливость — это от роста. Пять сантиметров за лето, отец говорит — акселерация на почве дорожных треволнений. Когда я наконец толкнула сонного брата в комнату, они как раз объясняли — мол, мы верим, что вы видный прибалтийский хирург-кардиолог, только видите ли, дорогой доктор, у нас здесь хватает этих видных и лучших в мире! «Генералов, врачей и скрипачей тут предостаточно», — добавили они смеясь. Батя слушал, и жилы на его шее надувались, как при свинке. Мне было очень жаль его. Спасло его чувство юмора: «Ну, тогда я все же суперотец этого гениального спринтера!» Правда смешно?»

Аро был краток:

«Привет! Асра все уже выболтала. Могу добавить, ты оказался пророком. Помнишь, в канун иванова дня? Мои документы плывут уже через океан, и скоро я начну тренировки с ихними рысаками. Как ты-то там? Грустно, братишка, пиши обо всем! Пока мой адрес такой: Connecticut, Technological campus (выбрал самый известный), poste restante (на «до востребования», как у Чехова — на деревню дедушке), Mr. Ronnie A. Libby, которого скоро каждая собака будет знать. Да, Рюйт, мы как-никак суперзвезды с чухонским уклоном...»

Хозяйка дома мамаша Кюльвирюйт проснулась от того, что пересохло во рту. Иногда прямо беда, по несколько раз за ночь такое. Она опасалась, уж не сахарный ли диабет, но своим ничего не говорила, а к врачу идти стеснялась: такая цветущая и крепкая для своих лет женщина. Вот если когда-нибудь на дом вызовут, тогда и расскажет. Только даже этот вирусный почему-то всегда обходил их. То ли здесь был более здоровый морской воздух, чем это нужно для гриппа, то ли питались они плотнее и на улице много находились — нынче перед рождеством целую неделю пришлось из-за снегопада поработать лопатой, как дворнику.

Но хотя бы по вечерам старик мог бы экономить, тем более что по другую сторону залива только об экономии топлива и говорят. Может, именно из-за этой топки и сохнет во рту?

Эльза Кюльвирюйт налила себе из банки кислейшего настоя чайного гриба, разбавила его водой (без сахара) и взяла с собой, чтоб не возвращаться, если снова во рту пересохнет. Открывая на кухне форточку, привычно бросила взгляд на узкую кайму прибрежного льда, сверкавшего в лунном свете, — дальше было уже разводье и голо блестяли макушки камней.

В коридоре хозяйка заметила, что сверху на лестницу падает узкая полоска света, и встревожилась. Рейн ведь не зубрит, тем более по ночам. Лай собаки или скрип открываемой двери она услышала бы во сне, девкой тут и не пахло, это ей говорило материнское сердце. У парня что-то стряслось, если ему не спится, — на часах-то небось уже три или четыре. И вдруг она вспомнила, что, придя домой, Рейн был какой-то потерянный, жевал, думая бог знает о чем, а уходя с ужина, просил к телеку его не звать.

Подымаясь с кружкой в руке, мамаша Кюльвирюйт чувствовала, как с каждой ступенькой ее сердце начинает щемить все больше и больше. Когда она, затаив дыхание, открыла незапертую дверь, то сердце поднялось чуть ли не к горлу, но она была смелая — не вскрикнула. С кружкой в руке Эльза Кюльвирюйт подошла к столу, на котором распласталось тело ее единственного сына: голова на скрещенных руках, длинные соломенного цвета волосы рассыпались по столу. На мгновение; ей показалось, что кожа на расслабленных мышцах уже воскового цвета, но потом она заметила, что сын дышит, и поняла, что это ей показалось из-за зеленого света настольной лампы. Она убрала его волосы и потрогала лоб, но жара не было. Из-под локтя выглядывал конверт с голубыми иностранными марками. Да, вставая из-

за стола, он сказал, что получил письмо от Либов, от этих своих евреев, которые уехали. И еще тут лежал чистый лист с непонятными, загадочными словами, несколько раз подчеркнутыми жирной чертой...

*голубой, голубая, голубое...
вольный дух Европы*

Она немного подумала, еще раз пощупала лоб сына. Он был чуть влажный, но дыхание глубокое и ровное, спокойный сон здорового молодого спортсмена. Просто на этом чердаке действительно слишком жарко.

Эльза Кюльвирюйт заметила кружку в своей руке и жадно глотнула, вдруг пожалев, что не положила сахара. Это помогает при испуге. А сухость во рту, конечно, от жары. Старик-то топит как безумный. И это теперь, когда весь мир экономит, ибо знает, как надо беречь тепло — для наступающих холодов...

1973—1974